**Сергей Ромашко \"Раздуть в прошлом искру надежды...\"**

**Опубликовано в журнале: «НЛО» 2000, №46**

**Конец Времени / время конца**

**Сергей Ромашко**

**Раздуть в прошлом искру надежды...:**

**Вальтер Беньямин и преодоление времени**

**Сергей Ромашко** **РАЗДУТЬ В ПРОШЛОМ ИСКРУ НАДЕЖДЫ...: ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН И ПРЕОДОЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ** Настоящее воспоминание в то же время должно быть отображением того, кто вспоминает.

Беньямин. Воспоминания и раскопки

Все, что связано с тезисами «О понятии истории», очень напоминает их автора, его характер и судьбу. Вальтер Беньямин давно и прочно заслужил славу человека, который упрямо все делал «не так», пытался соединить несоединимое, постоянно оказывался не там, куда направлялся. Тезисы были написаны для себя (для печати, заметил Беньямин, он на такое никогда бы не осмелился 1), а стали одним из наиболее известных его произведений. Они были написаны как программа будущей работы, а стали его завещанием. Они были написаны о понятии истории, а по сути лишали это понятие смысла. Они были обращены к прошлому, а несли в себе тревогу о будущем. Они были написаны как образец диалектики, а призывали мысль и время «замереть», что не могло не раздражать «классических» диалектиков Они были написаны как попытка присоединиться к марксистской интерпретации истории, а рассматриваются чаще всего как свидетельство чуждости Беньямина марксизму.

В начале 1940 года, когда Вальтер Беньямин работал над тезисами «О понятии истории», пошел восьмой год его жизни в эмиграции. Покидая Германию вскоре после прихода нацистов к власти, он не рассчитывал на быстрое возвращение. Но время шло, а ситуация только ухудшалась. Лишившись родины, Беньямин лишился и большинства возможностей публикации, а значит и заработка. Он был даже готов трудиться библиотекарем или библиографом, но его услуги никому не понадобились. Средств не хватало на самое необходимое, у Беньямина не было постоянного жилья, он был вынужден перебираться с место на место, время от времени отправляясь к кому-нибудь «в гости», чтобы получить хоть небольшую передышку и не думать о деньгах, вернее — их катастрофической нехватке. Беньямин не отказывался ни от каких возможностей публикации — по всей Европе, от Москвы и Праги до Парижа; какое-то время он даже мог еще печататься и в Германии, под псевдонимом 2. Несмотря ни на что, он продолжал исследовательскую и литературную работу, завершая начатое в Германии и начиная новые эссе, а главное — собирая материалы для основного проекта этого времени, «Пассажей» 3. Крохотная стипендия, которую он получал как нештатный сотрудник франкфуртского Института социальных исследований (продолжавшего деятельность также за границей, главным образом в США), была в течение всего эмигрантского времени его единственным постоянным доходом. В октябре 1937 он был вынужден отправить директору института, Максу Хоркхаймеру, прошение о повышении стипендии, чтобы позволить себе снять наконец-то однокомнатную квартиру и оборудовать нормальное место для работы, распаковав часть своей библиотеки, которую ему удалось спасти 4. Под конец институт был согласен перевести его в штатные сотрудники, но воспользоваться этим Беньямину уже не пришлось. Ход истории перечеркнул все планы.

С началом Второй мировой войны растерянное французское правительство решило обезопасить себя от нацистской пятой колонны. Для этого было принято решение интернировать всех, кто прибыл во Францию из Германии. Не имея возможности разобраться в ситуации, власти арестовывали всех подряд. Не играли роли ни политические убеждения — тем более, что после подписания пакта Риббентропа — Молотова даже коммунисты не были свободны от подозрений в связях с фашистами, — ни тот факт, что политэмигранты (в том числе и Беньямин) были к тому времени лишены германского гражданства. В спешно созданные лагеря отправили людей, большинство из которых бежало в свое время от Гитлера, чтобы теперь оказаться под подозрением в сотрудничестве с нацистской Германией.

Освобожденный через два с половиной месяца благодаря вмешательству своих французских друзей и при участии ПЕН-клуба, Беньямин в конце 1939 года вернулся в Париж и снова принялся за труды. Главное место среди них по-прежнему занимал проект о пассажах — культурологический анализ сдвигов в образе жизни, происходиших на протяжении XIX века в Париже, названном им мировой столицей того времени. В 1938—1939 годах он вычленил из общего комплекса обширнейших исследований работу о Бодлере («Шарль Бодлер — лирик эпохи зрелого капитализма») и сосредоточил свое внимание на этом фрагменте, видимо подозревая, что вся работа о пассажах может затянуться на слишком продолжительный срок. Перед самым началом войны он закончил статью «О некоторых мотивах у Бодлера», посвященную фланеру, человеку городской толпы. Предстояла работа над следующими разделами. Готовясь к ней, Беньямин и написал тезисы «О понятии истории».

Тезисы стали тем самым сочетанием актуальности и истории, о котором в них говорится. Они родились на пересечении отчаяния от нарастающего абсурда исторических событий, невольным свидетелем и даже участником которого был Беньямин, и его философских размышлений о сущности человеческого бытия, которым он предавался на протяжении долгого времени, обращаясь к истории, литературе, философии. Заключение договора между Германией и Советским Союзом было для него, как и для большинства левых интеллигентов, ударом, оправиться от которого было нелегко. Все минусы страны советов — а Беньямин знал о них и по своему опыту поездки в Москву — уравновешивались уверенностью в том, что именно Советский Союз является наиболее мощной реальной силой, противостоящей фашизму. Теперь, когда эта уверенность обратилась в дым (именно об этом говорят горькие строки 10-го тезиса 5), трагический разрыв между марксистской теорией и реальным социализмом стал и для Западной Европы непосредственно осязаемой реальностью.

Но Беньямин не был бы Беньямином, если бы строил свои рассуждения о настоящем и будущем исходя только из текущих событий. Даже не зная его замечаний о том, что в «Тезисах» отразились размышления, которые он хранил в тайне — «даже от себя» — лет двадцать 6, но и просто сопоставляя текст тезисов с другими работами Беньямина, нетрудно заметить множество перекличек между ними, а порой и просто куски из других работ, «вмонтированные» в тезисы 7. В первую очередь это касается опубликованной в 1937 статьи «Эдуард Фукс, коллекционер и историк», фрагменты которой вошли в тезисы V, XI, XIV и XVII. Но работа о Фуксе отсылает, в свою очередь, к книге «Происхождение немецкой барочной драмы», написанной в середине 20-х, то есть к раннему Беньямину. При всем своем актуальном звучании и значении тезисы «О понятии истории» вырастали из всего предшествовавшего творчества Беньямина.

Беньямин общался с людьми настолько разными, что никогда не смог бы собрать их вместе. Сионисты, партийные и беспартийные коммунисты, неортодоксальные марксисты, консервативные эстеты, французские сюрреалисты — кого среди них только не было 8. В его произведениях смесь невозможного была, как правило, не менее гремучей. Тезисы «О понятии истории» вполне соответствуют привычной манере Беньямина. Это подтверждает уже беглый взгляд на эпиграфы, цитаты и реминисценции: Эдгар По, Гегель, Шолем, Ницше, Маркс, порядком забытый в наше время Дицген, Карл Краус, Брехт, — почти полный набор тех основных источников, с которыми уже в течение долгого времени работал Беньямин (не хватает разве что Стефана Георге и Бодлера).

Самое вызывающее для многих в то время смешение — марксизма и теологии, открывающее тезисы. Правда, для Беньямина смешение теологии и политики началось гораздо раньше, возможно, еще до знакомства с марксизмом, если принять раннюю датировку его «Теолого-политического фрагмента» 9, в котором впервые были сведены теология и политическая история. Впрочем, сочленение марксизма и теологии могло показаться невероятным только для поверхностного взгляда. Более пристальные наблюдатели знали о теологических, мессианских аспектах теории социализма 10, да и сами отцы-основатели учения не чужды были мессианского духа и не боялись религиозных параллелей 11.

Беньямин, безусловно, был «страннейшим» 12 марксистом, марксистом «негодным» (как, впрочем, был бы «негодным» представителем любой идеологии или любого большого общественного движения). Все его попытки марксистской деятельности не устраивали не только партийных функционеров всех стран и разновидностей, но и неортодоксальных левых теоретиков франкфуртской школы. В стремлении быть таким как надо Беньямин оказывался настолько прямолинеен, что напугал даже Радека, когда тот увидел в Москве его статью о Гете, предназначенную для первого издания БСЭ 13. В то же время переход на левые позиции для Беньямина был неразрывно связан с определенными личными мотивами, с переживаниями: это были его встречи с Анной Лацис, с Бертольтом Брехтом и с Советской Россией. Персонифицированность, непосредственность были важнейшими побудительными силами, заставлявшими его идти этим путем, далеко не легким. Каждый из этих мотивов открывал для него неведомый, до конца не постигаемый мир, будь то мир отдельной личности или мир огромной страны. Все они были притягательны для Беньямина, как компания трудных подростков для мальчика из хорошей семьи (каким он и был), притягательны своей непостижимостью, недоступной ему брутальностью (не случайно для эстета Адорно Брехт был «диким»). Эти отношения объясняли невероятную терпимость Беньямина даже в тех случаях, когда что-то должно было его отталкивать. Так он, даже поняв уже, что в России ему не место, сохранял симпатию к стране, вопреки всему тому, что происходило в ней в тридцатые годы. Так он сносил от Брехта любой резкости замечания 14.

Появление Брехта — в виде эпиграфа — в тезисах вообще не случайно. Сохранившиеся предварительные материалы содержат ссылку еще на один брехтовский текст, более актуальный на тот момент, чем «Трехгрошовая опера». Это стихотворение «К потомкам», написанное уже в изгнании. В нем, по мнению Беньямина, заключен «подлинно исторический» взгляд: «Мы ждем от потомков не благодарности за наши победы, а памяти о наших поражениях» (GS I, 1240) 15.

Размеется, в «левизне» Беньямина был и момент провокации, была и определенная вынужденность, связанная с его полной зависимостью от Института социальных исследований 16. Была вынужденность и историческая: как и многие, Беньямин ждал от коммунизма ответного удара по наступавшему фашизму (и эксцессы коммунизма его не пугали, по крайней мере теоретически, потому что он полагал, что одолеть фашизм может только такая же грозная и дикая сила). И все же нет необходимости «спасать» его от марксизма, доказывая, что марксистом он не был или стал случайно («из-за женщины»). Он был таким марксистом, каким мог быть, каким он себе представлял возможность марксизма. И тезисы «О понятии истории» вряд ли случайно напоминают «Тезисы о Фейербахе» Маркса — и по форме, и по «критическому» запалу. Беньямин видел в них, очевидно, такой же пролог к новому восприятию человеческой истории, тот же выход за пределы интерпретации в возможность «изменять мир».

Было бы, однако, несправедливо обрывать истоки тезисов Беньямина на раннем социализме. «Критический» подход в Германии обладал гораздо более ранней историей, и Беньямин, писавший свою первую диссертацию о романтиках, прекрасно знал об их варианте критического взгляда на историю. Как литературный критик Беньямин также многим обязан романтическому наследию. Положение Фридриха Шлегеля о том, что историк — это «обернувшийся назад пророк», подробно обсуждается в предварительных материалах к тезисам «О понятии истории». И не удивительно, поскольку с этим положением органично связан не только пафос самих тезисов, но и вообще принцип исследовательской работы Беньямина, постоянно обращавшегося к прошлому не ради прошлого, а ради настоящего и будущего. Удивительно то, что афоризм Шлегеля в конце концов никак не вошел в окончательную редакцию тезисов. Тем не менее именно исторические размышления романтиков питали недоверие Беньямина к прогрессу, к мощи техники 17. Романтики открыли, что прогресс — всегда не только созидание, но и разрушение. В романтизме заключен один из источников восприятия Беньямином истории как драматического процесса, и данное тем же Шлегелем определение Великой французской революции: «трагическая арабеска» — как нельзя лучше перекликается с образами, на которых строятся тезисы «О понятии истории».

Другим источником методики, контуры которой были прочерчены в тезисах, была морфология Гете 18. С Гете Беньямина роднило стремление отыскать некий первофеномен, вроде «прарастения», позволяющий объяснить все многообразие ряда явлений, подобно тому как прарастение должно было объяснить многообразие мира растений, вернее — явить его реальное основание. Ведь первофеномен — это не «идея», не абстракция, а реальность того же ряда, его можно увидеть, ощутить, познать непосредственно, на опыте (erfahren). Эту свою позицию Беньямин пытался разъяснить в «Теоретико-эпистемологическом введении» к «Происхождению немецкой барочной драмы». Гораздо яснее метод проступил в исследованиях 30-х годов, когда выхваченные из жизни XIX века явления — пассажи, или фланер, или альбом с семейными фотографиями — становились такими первофеноменами, объясняющими всю эпоху, не потому что они для нее типичны (и здесь Беньямин находился в прямой оппозиции и к историческому позитивизму, и к художественному реализму), поскольку ни пассажи, ни фланера нельзя считать типичными явлениями, — а потому, что они для эпохи характерны. Метод Беньямина заключался в том, чтобы поймать ту точку, в которой, «как в интеграле», сходятся все основные черты реальности, и понять всю действительность (или какой-либо из ее массивов) через эту точку, реальную и в то же время в познавательном аспекте, как и точка математическая, не имеющую измерения (эпоху через отдельное событие или биографию, жизнь через отдельный поступок, творчество через отдельное произведение). За этим уже почти магическим приемом (своего рода «хитростью», как и понимал, в общем-то, диалектику Беньямин) проглядывает еще более отдаленная перспектива немецкой мысли — раннее Новое время, монадология Лейбница, ничуть не менее причудливый познавательный ход, чем натуралистические опыты Гете или философско-филологические парадоксы романтической иронии.

Этот «хитрый» ход причудливым образом связывает у Беньямина материализм и мистику. В самом деле, первофеномены, поисками которых был занят Беньямин, были абсолютно реальными вещами, и в то же время задача исследователя состояла в том, чтобы заставить их «заговорить», найти резонирующую частоту, на которой реальность оживает, вступая в определенные отношения с тем, кто к ней обращается.

Беньямин и правда был историческим материалистом. Только он был историческим материалистом в том смысле, что для него ничто из однажды случившегося никогда не исчезало, даже если оно было чем-то отринутым историей и всеми забытым. Все однажды вошедшее в область существования из нее навсегда не уходило, оставаясь в ней на правах реальности — по крайней мере до скончания времен («произведение прошлого... не является завершенным» — GS II, 477). По этой же причине для Беньямина не имело существенного значения, относится ли какое-то явление к «великим» или «малым»; больше того, для метода, которым он пользовался, оказывалось, что именно малое, незначительное — в общепринятой оценке — оказывается той критической точкой, в которой и есть смысл выпытывать действительность. Это как тупиковые ветви развития или драгоценные жилы, залегающие в самых неприметных местах. Отсюда любовь Беньямина к мелочам быта, к детским книгам и игрушкам, к тому, что солидные люди привыкли считать не стоящими внимания, вещами, о которых следует забывать, когда надобность в них отпадает.

Прообразом, «первофеноменом» нового отношения к истории была для Беньямина фигура коллекционера. В конце концов, и Гете на самом деле был не столько естествоиспытателем или историком искусства, сколько коллекционером, в чем нетрудно убедиться при посещении его дома в Веймаре. Коллекционером был и сам Беньямин, собиравший детские книги и игрушки. Первые свои мысли о методике «исторического материализма» Беньямин совсем не случайно изложил в статье о коллекционере Эдуарде Фуксе. Это для коллекционера не существует общепринятой шкалы значимости вещей или равномерной временной шкалы (того самого «пустого времени», которое, по Беньямину, не может ничего дать для понимания истории): его связывают с коллекцией совершенно особые, интимные отношения обладания, благодаря которым ценность и значимость вещи определяется совершенно специфическим образом. Это для коллекционера имеют первоочередное значение пограничные зоны и «крайности» 19. Это коллекционер вырывает вещь из исторического континуума, присваивая ее себе, потому что только так она становится его вещью 20. Предметы коллекции живут потому, что их одушевляет страсть коллекционера 21. Состав коллекции не определяется некоторыми «объективными» последовательностями исторических событий: состав коллекции определяет брошенный назад заинтересованный взгляд коллекционера (в этом смысле он — тоже «обернувшийся пророк»). Беньямин не мог быть объективен в позитивистском смысле: он коллекционировал события истории, выхватывая, как редкие книги на книжных развалах. Точно так же читал он и тексты, выхватывая из них цитаты и отдельные места и соединяя в свою коллажную коллекцию, на первый взгляд совершенно беспорядочную. Своим основным достижением в книге о происхождении немецкой барочной драмы Беньямин считал не авторский текст, а мастерскую подборку редких цитат.

Разрыв континуума истории не значит, по мнению Беньямина, отсутствия исторических связей как таковых. Но они пролегают совершенно иначе, чем представлял себе это позитивизм, выстраивавший каузальные цепочки. Картина прошлого проявляется, по Беньямину, со временем, как фотография в лабораторной кювете. Современность открывает нам прошлое, она связана с ним, но скорее обратной связью, чем каузально: прошлое открыто для переживаемого сейчас момента (Jetztzeit), поэтому проигранные битвы былых времен на самом деле не будут окончены до тех пор, пока не будет завершена история как таковая.

Не будь у этих ангелов привязанных к спинам крыльев,

они, возможно, были бы даже настоящими.

Беньямин. Франц Кафка

Подобный выход в мистическую симпатию событий несомненно связан с наследием иудаизма и иудейской мистики. Беньямин не был ни традиционным иудаистом, ни сионистом, и, несмотря на все усилия его друга Шолема, таким и остался 22. В зажиточных семьях берлинских евреев не слишком усердно соблюдали традицию, и Беньямин знакомился с иудаизмом скорее через его отражения в культуре XX века — через М. Бубера, Ф. Розенцвейга, через своего друга Шолема 23 и других. Совершенно особое значение имел для него Кафка, которым он усердно занимался в 30-е годы 24. В Кафке он нашел во многом родственную душу — человека, выпавшего из традиции и не нашедшего другой, в которую он мог бы войти. Многое из того, что Беньямин говорит о Кафке, с успехом может быть приложено и к нему самому. Симпатия к потепевшему поражение, проходящая через тезисы, перекликается со словами Беньямина о Кафке как человеке, «потерпевшем крах» 25. Эсхатологические мотивы тезисов «О понятии истории» безусловно восходят к разным проявлениям иудейского мессианизма, но восходят множеством переплетающихся линий, по большей части опосредованно, через искусство, литературу, философию, революционные учения, наконец. Беньямин и здесь не обходится без «хитрости»: объявив союз исторического материализма и теологии, он, как и в интерпретации произведений Кафки, от теологии скорее уходит — оказываясь в гораздо более привычной для себя сфере агады — притчи, сказки, анекдота, сравнения, в сфере примечательного и удивительного. Да и какой из Беньямина теолог 26.

Девятнадцатый век был воодушевлен паровой машиной. Беньямин цитирует в статье о Фуксе одного из идеологов техницизма: «Нет никакой нужды становиться ангелом... железная дорога более стоящая вещь, чем пара самых прекрасных крыльев!» 27 А Беньямин не желал расставаться с ангелом. Ангел был с ним постоянно, в детских воспоминаниях, которые он хранил и в зрелом возрасте, и в любимой им акварели Пауля Клее «Angelus Novus», приобретенной им в 1921 году и сопровождавшей его всю оставшуюся жизнь 28. Беньямин никогда не был на той стороне, где была сила. Он не принимал простых и готовых решений. Он не вступал в партии и не принимал на себя обязательств, закрывавших для него свободу выбора. Он никому не принадлежал целиком, это была его «хитрость» взрослого ребенка, даже тогда, когда окружающие воспринимали его уже как пожилого человека. «О понятии истории» — это прощание с ангелом. Он вот-вот сорвется и улетит, подхваченный ветром истории. Останется только искра надежды, зажженная в прошлом, неистребимая память о неудачах и поражениях будет до конца оставаться залогом грядущего избавления.

Разбухавший в конце тридцатых годов нарыв политического абсурда наконец прорвало, когда в мае 1940 немецкие войска обошли линию Мажино и двинулись на Париж. «Странная война» кончилась, теперь все было по-настоящему. Вместе со множеством других беженцев Беньямин бросился на юг, чтобы успеть добраться до Португалии, а оттуда — в Америку. Там он мечтал продолжать свои занятия, сидя где-нибудь на двадцатом или тридцатом этаже небоскреба. Всю жизнь Беньямин вел гонку со временем, оглядываясь назад. Тезисы «О понятии истории» к этому времени уже были закончены и он успел познакомить с ними тех немногих, кому он мог их доверить. До его смерти оставалось три месяца.

1 Именно так формулировал Беньямин это в письме Гретель Адорно в апреле 1940: «Нет необходимости говорить тебе о том, насколько далек я от мысли публиковать эти заметки (тем более в той форме, в какой ты их получила)» (GS, I, 1223 — здесь и далее под этим сокращением с указанием тома и страницы даются отсылки к собранию сочинений Беньямина: W. Benjamin. Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1972— 1989). Там же Беньямин указывает на то, что рассуждения носят «редуцированный» и «экспериментальный» характер.

2 Порой встречающиеся замечания о том, что Беньямин сам был виноват в сложившейся ситуации из-за присущего ему эгоцентризма (см., например: I. Scheurmann. Als Deutscher in Frankreich: Walter Benjamins Exil 1933—

1940 // FЯr Walter Benjamin. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. S. 84) трудно принимать всерьез. Беньямин был к этому времени сложившимся человеком, и только очаровательная в своей наивности Анна Лацис могла писать ему письма с призывом отправиться в Испанию и писать репортажи о гражданской войне (можно себе представить, что написал бы Беньямин, если бы он добрался все же до Испании в то время и, главное, сумел бы вернуться оттуда живым). Беньямин, разумеется, не вписывался во всякого рода эмигрантские группировки и не присоединялся к разного рода бессмысленным по своей сути воззваниям, но винить его в этом невозможно.

3 Вот основные работы, написанные и подготовленные Беньямином в эмиграции: «О современной социальной ситуации французского писателя» (1933); «Автор как производитель» (1934); «Франц Кафка» (1934); «Берлинское детство на рубеже веков» (промежуточная редакция — 1934, окончательная редакция — 1938); «Проблемы социологии языка» (1934—35); «Париж, столица XIX столетия» (1935); «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (первая редакция — 1935, вторая — 1935—36, третья — 1936—39); «Рассказчик» (1936); «Эдуард Фукс, коллекционер и историк» (1937); «Париж Второй империи у Бодлера» (1937—38); «Комментарии к стихотворениям Брехта» (1938—39); «О некоторых мотивах у Бодлера» (1939).

4 О том, что значила для Беньямина его библиотека, можно судить по его эссе « Я распаковываю свою библиотеку» (1931).

5 «...когда политики, бывшие надеждой противников фашизма, повержены и подтверждают это поражение предательством своего дела...»

6 См. GS, I, 1223.

7 О «монтажной» технике Беньямина, как и вообще о его манере работы, написано до сих пор крайне мало. Некоторые общие соображения можно найти у Ханны Арендт (H. Arendt. Walter Benjamin. Bertolt Brecht. MЯnchen: Piper, 1971). Об одном из примеров «монтажа» см. также: С. А. Ромашко. Детская фотография: О мотивах детстства у Вальтера Беньямина // Логос. 2000. № 3. C. 101—107.

8 Достаточно посмотреть по письмам и другим свидетельствам, как отзывались друг о друге Шолем, Брехт, Адорно. Шолем, например, побывав в 1938 году в Америке и встретившись, наконец, с сотрудниками Института социальных исследований, называл их не иначе как «онанистами духа» (H. Puttnies, G. Smith. Benjaminiana. Giessen: Anabas Verlag, 1991. S. 209).

9 Такова позиция издателей собрания сочинений Беньямина (GS, II, 946—949), представляющаяся наиболее убедительной; фрагмент можно считать материальным подтверждением слов Беньямина о том, что он размышляет над этими проблемами «лет двадцать».

10 Примечателен в этом отношении следующий фрагмент из воспоминаний Сомы Моргенштерна, человека, поддерживавшего близкие отношения с Беньямином весь период эмиграции: «В отличие от большинства коммунистов... с ходу оправдывавших Сталина или даже полагавших, будто хитрый грузин обманул Гитлера, чтобы выиграть еще пару лет на подготовку к войне, Беньямин был уверен, что коммунистической идее нанесен ущерб, от которого она не скоро оправится... Я полагаю, что уже в ту неделю у него зародился план позднее написанных тезисов... Когда он снова заговорил со мной о том, что этот пакт разрушил веру в спасение мира марксизмом-ленинизмом, я спросил его, не приходило ли ему в голову, что эта его вера сродни иудейской вере в мессию, несущего избавление миру. “Вы можете пойти и дальше, — сказал он, конечно иронически, — и утверждать, что Карл Маркс и вообще весь социализм XIX века были иной формой мессианской веры”. На это я ему ответил, что не могу брать на себя такое утверждение, потому что его уже сделал и опубликовал совсем другой человек. И это был даже не еврей, а француз, Эрнeст Ренан» (H. Puttnies, G. Smith. Benjaminiana. S. 196—197.). В набросках к тезисам обнаруживается именно эта формулировка: «В представлении о бесклассовом обществе Маркс секуляризировал представление о мессианском времени. И правильно сделал» (GS, I, 1231).

11 Энгельс, например, сам указывал в своих работах о происхождении христианства на сходство раннего христианства и раннего социалистического движения.

12 «Беньямин был, должно быть, страннейшим марксистом среди всех, котого породило это не бедное на странности движение» (H. Arendt. Walter Benjamin. Bertolt Brecht. S. 18).

13 B. Беньямин. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997. C. 118.

14 Отношения Беньямина и Брехта — тема, до сих пор по-настоящему не раскрытая. Основная сложность ее заключается в том, что их дружба строилась на симпатии, не исключавшей серьезных противоречий. Документы их разговоров, например, — чаще всего непримиримые споры. Вывести из них какую-то «линию» совершенно невозможно. Свидетели утверждают, что больше всего они любили молча сидеть за шахматной доской. К этому следует добавить еще и то, что «ортодоксальная» франкфуртская историография просто была не в состоянии совместить дружбу с Брехтом и выработанный ею образ Беньямина.

15 Вы, которые вынырнете из потопа,

Поглотившего нас,

Вспомните,

Говоря о наших слабостях,

Также и о том мрачном времени,

Которого вы избежали.

[...]

Но вы, которые доживете до дней,

Когда человек будет помогать человеку, —

Вспомните нас

С состраданием!

(пер. К. Богатырева)

16 Правка, которой подвергались порой тексты Беньямина перед публикацией в журнале института, повергала, по свидетельству современников, Беньямина на несколько дней в ярость и отчаяние, но все это «руководство» ему тем не менее приходилось терпеть.

17 Самое яркое воплощение амбивалентное отношение романтиков к технике нашло в страшных историях об автоматах: в этом смысле псевдоавтомат в беньяминовских тезисах — тоже отзвук романтических образов.

18 На это точно указала в свое время Ханна Арендт (Н. Arendt. Op. cit. S. 16—20).

19 Беньямин с особым удовольствием цитирует слова Э. Фукса: «истина кроется в крайности» (GS, II, 483), объясняющие, каким образом карикатурное изображение (Фукс был первым историком карикатуры) оказывается содержательно не менее значимым, чем изображение «объективное».

20 «Подлинная, совершенно непонятая страсть коллекционера всегда анархична, деструктивна. Вот ведь в чем состоит ее диалектика: соединять с верностью вещи, единичному, скрытому в ней, своенравный подрывной протест против типичного, классифицируемого» (Похвала кукле [1930] // GS, III, 216).

21 «Коллекционеры — физиогномисты мира вещей. Достаточно понаблюдать за кем-нибудь из них, как он обращается с предметами своих ящиков. Едва он берет их в руки, как кажется, будто они пронизывают его своей духовной силой, будто он как маг всматривается через них в даль» (GS, III, 217).

22 Беньямин принимался учить иврит — но бросал; оформлял визу для поездкив Палестину — и не ехал. Тема «Беньямин и иудаизм» еще ждет внимательного и тщательного рассмотрения. Здесь же она не более чем называется.

23 В одном из писем Беньямин писал Шолему, что тот был для него олицетворением «живого иудаизма» (Briefe, S. 513).

24 См. вышедший на русском языке сборник текстов Беньямина о Кафке: В. Беньямин. Франц Кафка. М.: Ad Marginem, 2000.

25 «...чтобы воздать должное образу Кафки во всей его чистоте и всей его своеобычной красоте, ни в коем случае нельзя упускать из виду главное: это образ человека, потерпевшего крах» (из письма Шолему от 12.06.1938 // B. Беньямин. Франц Кафка. C. 178—179).

26 «Мое мышление относится к теологии, как промокашка к чернилам. Оно полностью ею пропитано. Однако если бы все решала промокашка, ничего из написанного не сохранилось бы» (GS, I, 1235).

27 GS, II, 475.

28 Об истории этой акварели и ее значении для Беньямина подробно написал Г. Шолем (см.: Walter Benjamins Engel // Zur AktualitКt Walter Benjamins. Frankfrut a. M.: Suhrkamp, 1972). При бегстве из Парижа Беньямину пришлось оставить картину в Париже вместе с рукописями.

© 2001 Журнальный зал в РЖ, \"Русский журнал\" | Адрес для писем: zhz@russ.ru По всем вопросам обращаться к Татьяне Тихоновой и Сергею Костырко | О проекте